



FISHERMAN'S G...
1100 02E I TD

ROOMS

KEEP TRACHT

ПОЛЗЕМНОЕ
ШЕК КЕРУАК

18+

ЧТИБО

Джек Керуак

Подземные

«Издательство ЧТИВО»

1953

Керуак Д.

Подземные / Д. Керуак — «Издательство ЧТИВО», 1953

ISBN 978-1-00-562969-4

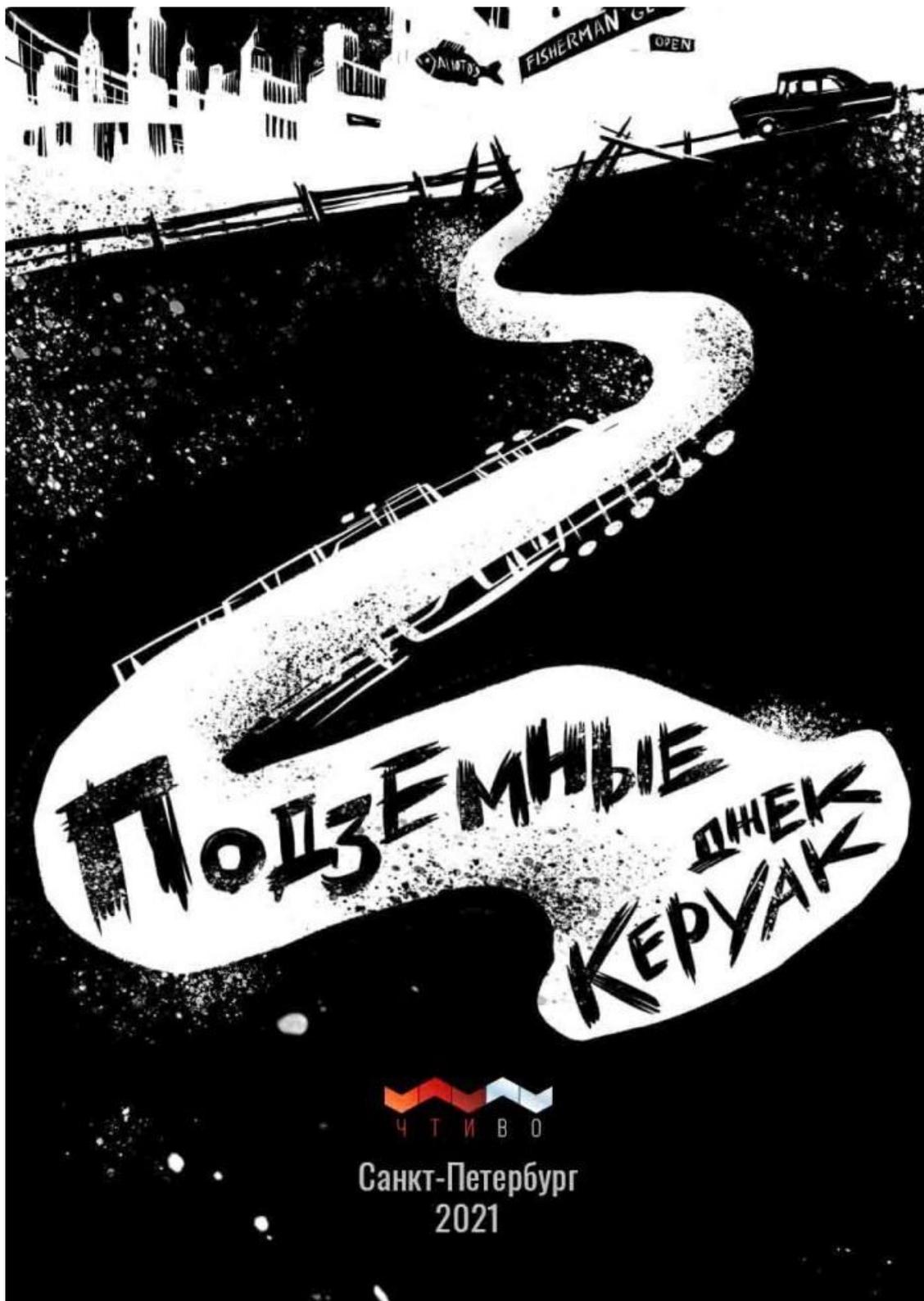
История любви одного из величайших писателей XX века к темнокожей девушке, опередившей своё время на несколько десятилетий, разворачивается перед нами в ритме спонтанной прозы на фоне гремящих тусовок бит-поколения в Сан-Франциско пятидесятых.

ISBN 978-1-00-562969-4

© Керуак Д., 1953
© Издательство ЧТИВО, 1953

Содержание

Содержание	6
Предисловие	7
Джек Керуак	10
Конец ознакомительного фрагмента.	25



Джек Керуак Подземные

Содержание

[Предисловие](#)

[Подземные](#)

[Основы спонтанной прозы](#)

[Вера и техника современной прозы](#)

[Заметки переводчика](#)

[Об авторе](#)

[О переводчике](#)

[Читайте также](#)

Предисловие

*«Свят, кто слышал отголосок
Дважды свят, кто видел отражение
Стократно свят, у кого лежит в кармане то, что
Глазами не увидеть
Мозгами не понять»*

Из песенки о святости, мышце и камыше.

«Нет времени на поэзию. Только на то, что есть»¹

Ах, она сидела на крыле автомобиля! Из романа «В дороге» мы уже знаем, что значит для Сэла/Джека/Лео автомобиль, так что первое появление героини в этом контексте никак не сочтёшь случайным. Надо понимать: это не просто автомобиль, это представитель благородного американского автопрома сороковых (скорее всего) годов, с блестящим обтекаемым крылом: машина как воплощение Америки, самой её идеи (с теневой стороной в виде капиталистического монстра конвейерного завода Форда, но так в мире Керуака устроено всё).

Название «Подземные» обманчиво и сверхправдиво, в нём заложена двойная игра. Мы ожидаем рассказа о боповом поколении – друг Керуака, поэт Аллен Гинзберг (в романе Адам Мурад) прозвал их «подземными», на что рассказчик ссылается в самом начале – но это ловушка: нас отвлекает яркая вспышка в ночи Сан-Франциско, чтобы незамеченными скрылись влюблённые; пусть они спрячутся в одной из этих бесчисленных квартир, чтобы там, за закрытыми шторами... вот кто настоящие подземные мира Керуака. Писатель с грустными глазами и сумасшедшая цветная девушка. Мужчины боятся Марду. С ней можно круто провести время, она экзотичная, интересная – но никто не захочет с ней длительных отношений, потому что остаться с ней – значит разделить её безумие, внять ему. Именно этого желает Лео Персепье, очередная маска Джека Керуака. Он узнаёт в ней то, что чувствует сам.

«Исчёрканные тайные блокноты и дикие печатные страницы, для твоей собственной радости».

«Подземных» Керуак написал за три ночи – очевидно, те три ночи, что наступили за последними событиями, описанными в романе. Именно так: вернувшись с полей в своё подземеелье, он щедро делится с бумагой всем, чем переполнен. Спонтанная проза, которую проповедует Керуак, – *«Подчинение всему, открытое, слушающее»*. Можно перечислить её литературные культурные источники – впрочем, внимательный читатель сам обнаружит эти имена, рассыпанные на страницах романа. Спонтанная проза – это поездка на попутках и товарняках глубоко внутрь себя. Будь здесь. Сумей разглядеть ЭТО среди *«невыразимых видений индивидуума»*, не дай внутреннему цензору приручить твои самые первые, самые искренние мысли, ведь *«то, что вышло из глубины диким, недисциплинированным, безумным – лучшее»* – успевай правдиво предать всё бумаге; просто продолжай, и тогда истина неминуемо просочится между строк.

Отсюда – странный облик керуаковской прозы, такой непривычной (до сих пор, хотя этим открытиям уже семьдесят лет), такой живой. Здесь всё подчинено ритму, текст становится своего рода партитурой для читающего; весь Керуак густо замешан на джазе, точнее – на бибопе, и в романе «Подземные» он раскрывает эту связь, описывая выступление Чарли Паркера. Образ Птицы (так звали Паркера, 'Bird') становится носителем эстетической программы «бопового писателя» (вскользь: Марду из тех немногих женщин, что умеют петь бибоп).

¹ Здесь и далее: курсивом выделены цитаты из эссе Джека Керуака «Вера и техника современной прозы»

«Птица Паркер на сцене с серьёзным взглядом, его недавно повязали, и вот он вернулся во Фриско, где боп вроде как уже умер, но совсем недавно он узнал сам или от кого-то ещё о «Красном Барабане», где вопит и толчётся эта великая банда нового поколения, и вот он на сцене, обводит их глазами и выдувает свои теперь-уже-ставшие-системными «безумные» ноты». Боповая импровизация основана на скоростном виртуозном полёте, использовании большого количества нот – большего, чем позволяет использовать за раз классическая гармония. В прозе Керуака тот же принцип, и венчающее ритмический раздел текста размашистое тире – это место для вдоха, ведь саксофонист должен набрать в грудь воздуха. Взгляд рассказчика встречает взгляд Паркера, в котором нет вызова, последний глядит «своим взглядом короля и основателя боп-поколения, он врывается в аудиторию своим звуком, прямо в глаза, а они потаённо глядят, как он взял и поджал губы и позволил работать своим огромным лёгким и бессмертным пальцам, его глаза широко посажены, заинтересованы и человечны, он самый добрый джазовый музыкант на свете и потому, естественно, величайший». Лео и Птица чувствуют ЭТО; всё просто и ясно: *«твое чувство найдёт свою форму»*, просто *«будь безумным глупым святым ума»* и *«дуй во всю силу»*.

Это ясно там, среди безумных людей, безумных ночей, баров, улиц, квартир. Вспышки прозрения внутри потока: ночь с чернокожей девушкой (это важно, что она чернокожая, да ещё с примесью чероки: так встречает героя сама Земля) в её квартире, но именно тут пролегает тот разлом, который делает Лео «подземным», а их с Марду любовь – от начала обречённой.

В исповедальной по своей природе спонтанной прозе нельзя врать, вот главное правило. Соблюдай его – и ты будешь производить великие книги. Нарушишь – получишь ширпотреб, которого впоследствии много накопилось среди раздражителей. Керуак безупречно честен, поэтому ему удаётся зафиксировать на бумаге то движение, которое каждому из нас знакомо, но которое мы в своём мире сглаживаем. Наутро, когда возбуждение ушло, он вдруг обнаруживает рядом с собой «спящую негритянку с приоткрытыми губами и кусочки набивки белой подушки в её чёрных волосах, я ощущаю почти отвращение, осознаю себя животным, рядом с этим виноградным маленьким сладким телом, обнажённым на беспокойных простынях возбуждения прошедшей ночи». Керуак исповедуется в нарушении своей собственной заповеди: *«не бойся и не стыдись, будь достоин своего опыта, знания и языка»*. Он бросает всё, бросает её одну – и мчится к печатной машинке, потому что в свете его *работы* всё вдруг становится таким не важным и не нужным. А после – опять безумие полёта: бары, музыканты, тело к телу, лицо к лицу, дух к духу.

Если бы мне выпало экранизировать Керуака, фильм начинался бы так: писатель за столом; кофе, сигареты, бензедрин, листы, блокноты, печатная машинка. Он выстукивает в открытое окно боповое соло на своей машинке, курит, ходит по комнате – и лишь обрывками-видениями вплетаются в это фрагменты повествования: сталкиваясь с этой прозой, мы никогда до конца не проникаем во время событий, властная структура задерживает нас во времени рассказывания, заставляет остановиться – и смотреть чужие воспоминания как кино. Керуак действительно очень кинематографичен; у него бодрый американский монтаж (чего стоит это композиционное решение: вводить видения сцены – такой, например, как сцена в такси – заранее, задолго до того, как станет ясен контекст происходящего). В какой-то момент, пересказывая монолог Марду, он вдруг резко укрупняет действительность, замедляет её по-джойсовски, доводит детализацию до уровня Брейгеля Старшего – и тут нас озаряет: а ведь он не мог видеть всех этих деталей, его там не было, он лишь пересказывает слова девушки – и становится ясно, что перед нами сцена, как она возникла в его собственной голове; впечатление, порождённое его фантазией (на основе некоторых предпосылок), и такой статус приобретает всё в романе. Мы не побываем в Сан-Франциско и не узнаем о жизни бопового поколения, мы отправимся путешествовать в сердце Америки, в сердце Керуака, в своё собственное сердце.

Кино – это самое американское искусство. А писатель – *«режиссёр Земных фильмов Спонсированных и Ангелированных на небесах».*

Андрей Янкус

Джек Керуак Подземные

При переводе сохранены особенности авторской пунктуации.



Некогда я был молод, имел куда больше собственных мнений и мог говорить обо всём с нервным интеллектом, внятно и без таких литературных вступлений, как это; скажем так, это история неуверенного в себе мужчины, и при этом эгоманьяка, тут совсем не до шуток — я начну с начала и дам просочиться истине, вот что я сделаю —. Всё началось тёплой летней

ночью – ах, она сидела на крыле автомобиля с Жюльеном Александером, а он... я начну с истории подземных из Сан-Франциско...

Жюльен Александер – ангел подземных, так их назвал Адам Мурад, поэт и мой друг, он сказал о них: «Они хиповые, но не глянцевого, умные, но не банальные, они интеллектуальны до чёртиков и знают всё о Паунде, но не выделяются и не разглагольствуют, они очень тихие и очень похожие на Христа». Жюльен уж точно похож на Христа. Я шёл по улице с моим старым приятелем Ларри О'Харой, он был моим собутыльником во время моей долгой, нервной и безумной карьеры в Сан-Франциско, когда я напивался за счёт своих друзей с «общительной» регулярностью, но никто из них не хотел заметить или объявить, что у меня развивается или уже развилась, в дни моей молодости, дурная привычка выпивать на халяву, и они наверняка это видели, но любили меня, и как сказал Сэм: «Все идут к тебе за бензином, парень, ты тут устроил настоящую бензоколонку», вот так – старина Ларри О'Хара был всегда добр ко мне, чокнутый молодой ирландский бизнесмен из Сан-Франциско с бальзаковской каморкой в его книжном магазине, где они курили чай и говорили о былых временах великого биг-бэнда Бэйси или о временах великого Чу Берри – о нём я ещё скажу, раз уж она с ним была связана, и ей надо было путаться со всеми, раз она меня знала, а я нервничал и был самым разным и уж точно не однообразным – ещё не показана и малая часть моей боли – или страдания – Ангелы, терпите меня – и смотрю я не на страницу, а прямо перед собой на мрачное сияние стены моей комнаты и на передачу Сары Воан и Джерри Маллигана радио KROW на столе в форме приёмника, и ещё раз, они сидели на крыле машины перед баром «Чёрная Маска» на Монтгомери-стрит, Жюльен Александер, весь похожий на Христа, худой, небритый, молодой, тихий, странный, как сказали бы вы или Адам, этакий ангел апокалипсиса или святой подземных, вполне себе звезда (сейчас), и она, Марду Фокс, когда я впервые увидел её лицо в баре «Данте» за углом, я сразу подумал: «Боже, я должен сойтись с этой маленькой женщиной», может, ещё и потому, что она была негритянкой. А лицо у неё было прямо как у Риты Сэвидж, девичьей подруги моей сестры, о ней я грезил когда-то, как она стоит на коленях у меня между ног на полу в туалете, я на стульчаке, и она с её необычными прохладными губами и резкими высокими мягкими индейскими скулами, – то же лицо, но тёмное, милое, с маленькими глазами, честными, блестящими и напряжёнными, и она, Марду, подалась вперёд и говорила что-то очень серьёзное Россу Валленштейну (другу Жюльена), склонившись над столиком, глубоко – «я должен с ней сойтись» – я попытался стрельнуть ей радостным взглядом, сексуальным взглядом, но она и не подумала ответить или хотя бы взглянуть – надо сказать, меня только что рассчитали в Нью-Йорке с рейса в Кобе, в Японию, из-за проблем со стюардом и моей неспособности быть любезным и, прямо сказать, человечным, и нормально выполнять обязанности дневального по кают-компаниям (следует признать, что я придерживаюсь фактов), это типично для меня, я был готов обходиться с первым механиком и другими офицерами с любезной вежливостью, но именно это вывело их из себя, они хотели, чтобы я им что-нибудь сказал, пусть даже нагрубил, по утрам, пока наливал им кофе, а я вместо этого молча мчался выполнять их приказы и ни разу не улыбнулся, хотя бы слабо, или надменно, всё из-за ангела одиночества, сидевшего у меня на плече, и когда я спустился той ночью по тёплой Монтгомери-стрит и увидел Марду на крыле машины с Жюльеном, я подумал: «О, вот девушка, с которой я должен сойтись, интересно, ходит ли она с кем-то из этих парней» – темно, её почти не видно на тёмной улице – её ступни в ремешках сандалий такого сексуального величия, что я захотел поцеловать её, их – без какой-либо задней мысли.

Подземные зависали рядом с «Маской» в тёплой ночи, Жюльен сидел на крыле, Росс Валленштейн стоял, ну и ещё Роджер Белуа, великий боповый тенорман, Уолт Фицпатрик, сын известного режиссёра, выросший в Голливуде в атмосфере вечеринок Греты Гарбо до рассвета, когда пьяный Чаплин вываливается из дверей, ещё несколько девушек, Гарриет, бывшая жена Росса Валленштейна, такая блондинка с мягкими размытыми чертами лица, в простом

ситцевом платье, почти как домохозяйка на кухне, но на неё приятно смотреть – ещё одно признание, сколько мне надо их сделать кряду – я грубо по-мужски сексуален и ничего не могу с собой поделывать, и у меня есть развратные наклонности и всё такое прочее, и почти все мои читатели-мужчины наверняка таковы – признание за признанием, я канук, по-английски я вовсе не говорил до пяти или шести лет, а в шестнадцать говорил с сильным акцентом и был большим малокровным школьником, хотя потом и играл в баскетбол за университет, и если бы не это, никто бы не заметил, что у меня были нелады с миром (неуверенность в себе) и я побывал в психушке из-за какой-то неадекватности —

Но теперь я хочу рассказать о самой Марду (трудно сделать настоящее признание и рассказать, как всё было, когда ты такой эгоманьяк и умеешь лишь записывать длинные абзацы с мельчайшими деталями насчёт себя и крупными душевными подробностями насчёт других, сидя вот так в ожидании) – ну и ладно, а ещё там был Фриц Николас, титулярный лидер подземных, и я сказал ему (встретив его в канун Нового Года в шикарной квартире на Ноб-Хилл, он сидел, скрестив ноги, как индеец на пейоте, на толстом ковре, в чистой белой косоворотке и с чокнутой девицей, этакой Айседорой Дункан с длинными синими волосами на его плече, он курил траву и говорил о Паунде и пейоте) (он тоже похож на Христа, с внешностью фавна, молодой, серьёзный, отец группы, и когда вдруг встречаешь его в «Чёрной Маске», он сидит там, запрокинув голову, узкие карие глаза наблюдают за всеми, словно во внезапном медленном изумлении, и «вот, мои маленькие, и что теперь, мои дорогие», а ещё он великий знаток наркоты, всех кайфов, на любой вкус, в любое время и очень крутых), так вот, я сказал ему: «Ты знаешь эту девушку, тёмную?» – «Марду?» – «Её так зовут? С кем она ходит?» – «Сейчас ни с кем конкретно, а в своё время это было ещё то кровосмешение», – он сказал мне это странное слово, когда мы подошли к его старому разбитому 36-му Шеви без заднего сиденья, стоявшему напротив бара, чтобы взять травы для всей нашей группы, когда мы будем вместе, ведь тогда я сказал Ларри: «Чувак, давай вдарим по чаю». – «А зачем тебе все эти люди?» – «Я хочу в них врубиться как в группу», я сказал это перед Николасом, чтобы он мог оценить мою чувствительность, тогда я ещё не был с ними знаком, однако сразу, etc., осознал их значимость – факты, факты, сладкая философия давно оставила меня вместе с соками прошлых лет – кровосмешение – в группе был ещё один великий персонаж, однако этим летом он находился не здесь, а в Париже, Джек Стин, очень занятный маленький парень в стиле Лесли Ховарда, он расхаживал (Марду мне это потом показала) как венский философ, и его руки мягко свисали по бокам и чуть качались туда-сюда, и он скользил длинными медленными плавными шагами, а потом замирал на углу в величественной мягкой позе – он тоже был связан с Марду, причём, как я узнал потом, весьма странным образом – и вот моя первая доза информации об этой девушке, с которой я САМ ИСКАЛ как сойтись, будто мне всё ещё было мало проблем или другие прежние романы не сообщили мне о боли, что ж, нарывайся дальше, всю свою жизнь —

Из бара хлынули разные интересные люди, эта ночь потрясно меня впечатлила, там был какой-то тёмный Марлон Брандо с причёской Трумана Капоте с мальчиком-или-девочкой в мальчишеских брюках со звёздами в глазах и такими мягкими на вид бёдрами, когда она засунула руки в брюки, я уловил разницу – эти тонкие ноги в тёмных брюках, переходящие в маленькие ступни, и это лицо, а с ними парень с другой красивой куколкой, парень по имени Роб, такой геройский израильский солдат с британским акцентом, я думаю, его можно найти в одном из баров на Ривьере в пять утра, пьющего всё подряд в алфавитном порядке с кучкой интересных безумных интернациональных друзей навеселе – Ларри О’Хара познакомил меня с Роджером Белуа (я не поверил, что этот молодой человек передо мной с обычным лицом был тем великим поэтом, которым я зачитывался в молодости, в молодости, в молодости, то есть в сорок восьмом, я всё ещё говорю о своей молодости) – «Это Роджер Белуа? – я Беннетт Фицпатрик» (отец Уолта), что вызвало улыбку на лице Роджера Белуа – Адам Мурад, к тому моменту вышедший из ночи, тоже там был, и ночь распахнулась —

И вот мы все двинули к Ларри, и Жюльен сел на пол перед развёрнутой газетой, на ней был разложен чай (сомнительного качества из Эль-Эй, но вполне хороший), уже скрученный, или «свёрнутый», как ныне отсутствующий Джек Стин сказал мне на прошлый Новый год, и это был мой первый контакт с подземными, он тогда предложил свернуть мне косяк, и я весьма холодно ответил: «Зачем? Я сверну себе сам», и тут же облако пробежало по его чувствительному личику etc., и он возненавидел меня – и подкальывал всю ночь при всяком удобном случае – но теперь Жюльен сидел на полу, скрестив ноги, и сам скручивал для всех, а группа и все в ней гудели разговорами, и я их точно не возьмусь пересказать, разве что вот это: «Я смотрю на эту книгу Персепье – кто такой Персепье, его уже развенчали?» – этакая светская беседа, или мы слушали, как Стэн Кентон говорит о музыке завтрашнего дня, и вот мы слышим о появлении нового молодого тенормана, Риччи Комукки, и Роджер Белуа говорит, вытянув выразительные тонкие лиловые губы: «Это музыка завтрашнего дня?» и Ларри О'Хара рассказывает анекдоты из своего обычного репертуара. В 36-м Шеви снаружи Жюльен, сидевший до этого рядом со мной на полу, протянул мне руку и сказал: «Меня зовут Жюльен Александер, у меня есть кое-что, я завоевал Египет», а затем Марду протянула руку Адаму Мураду и представилась, сказав: «Марду Фокс», но не подумала сделать это со мной, а ведь это могло стать моим первым намёком на пророчество о том, чему надлежит произойти, так что мне пришлось самому протянуть ей руку и сказать: «А я – Лео Персепье» – и пожать ей руку – ах, ты всегда выбираешь тех, кто тебя вовсе не хочет, – на самом деле она хотела Адама Мурада, саму её только что холодно и подземно отверг Жюльен – она интересовалась утончёнными аскетичными странными интеллектуалами Сан-Франциско и Беркли, а не большими параноидальными бродягами кораблей, железных дорог, романов и всей той злобы во мне, которая так очевидна мне самому и другим тоже – хотя бы потому, что она была десятью годами младше меня и не видела ни одной из моих добродетелей, так или иначе давно погребённых под годами наркоты и желания умереть, отвергнуть, забросить всё и всё позабыть, умереть под тёмной звездой, – ведь это я протянул руку, а не она – ах, время.

Но при взгляде на её маленькие прелести меня посетила лишь одна продвинутая идея, что мне нужно погрузить своё одинокое естество («большой грустный одинокий мужчина» – так она сказала мне на следующую ночь, вдруг увидев меня в кресле) в тёплую купель и спасение её бедер – интим юных влюблённых в постели, прямо, лицом к лицу, нагая грудь к груди, орган к органу, колено к дрожащей коленке с гусиной кожей, обмен экзистенцией и любовными актами, чтобы получилось – «получилось», её любимое выражение, я замечаю маленькие острые зубки за маленькими красными губами, когда вижу, что «получилось» – ключ к боли – она сидела в углу, у окна, она была «одна» или «в стороне», или «готова оставить группу» по какой-то своей причине. – Я зашёл в этот угол, прислонившись головой не к ней, но к стене, и начал с безмолвного общения, затем тихие слова (как положено на вечеринке), типичные слова Северного Берега: «Что ты читаешь?» – и она в первый раз раскрыла рот и заговорила со мной, излагая свою мысль, и моё сердце совсем не дрогнуло, но удивилось, когда я услышал культурные смешливые тона, отчасти Берега, отчасти И. Маньена, отчасти Беркли, отчасти высшего негритянского класса, такая смесь *langue* и стиля речи и таких слов, каких я раньше не слышал, разве что у каких-то редких девушек, конечно *белых*, такая странная смесь, даже Адам это заметил и обсудил со мной этой ночью – такое произношение нового бопового поколения, вы говорите не *я*, но «*яу*» или «*оу*», с растяжкой, прежде эта манера говорить считалась «женственной», и когда вы впервые слышите её у мужчин, она звучит неприятно, а когда вы слышите её у женщин, это очаровательно, но очень странно, и этот звук я уже определённо и с удивлением слышал в голосе новых боповых певиц, таких как Джерри Уинтерс, особенно с группой Кентона на пластинке *Yes Daddy Yes*, и может ещё у Джерри Сазерн – но моё сердце упало, потому что Берег всегда меня ненавидел, изгонял, не замечал, гадил на меня, начиная с сорок третьего, – смотрите, я шагаю по улице как хулиган, а потом они узнают, что я вовсе

не хулиган, а такой безумный святой, но им это не по душе, и они боятся, что я всё равно внезапно заделаюсь хулиганом и начну их бить и всё крушить, что было недалеко от истины, подростком я так и сделал, когда однажды слонялся по Берегу с баскетбольной командой Стэнфорда, особенно с Редом Келли, жена которого (верно?) умерла в Редвуд-Сити в сорок шестом, вся команда позади нас, кроме братьев Гаретта, и он толкнул педика-скрипача в подъезд, а я толкнул другого, он ударил его, я свирепо взглянул на своего, мне было восемнадцать, я был сопляк, да ещё и свежий, как маргаритка, – теперь, замечая это прошлое в моём хмуром взгляде, ужасе и вспышках моей гордости, они не хотели иметь со мной ничего общего, и я знал, что Марду откровенно не доверяла мне и я ей не нравился, когда сидел там, «стремясь (не к ЭТОМУ, но) к тому, чтобы её сделать» – нехиповый, дерзкий, с фальшивой истерической «наигранной» улыбкой, как они о ней говорят – я жаркий – они холодные – а ещё на мне была весьма ядовитая неподходящая рубашка, купленная на Бродвее в Нью-Йорке, когда я думал, что сойду на берег в Кобе, глупая гавайская рубашка Кросби с цветами, мужской выпендрёж и тщеславие, результат моей обычной начальной честной скромности (есть такое), так что после двух косяков я захотел расстегнуть лишнюю пуговицу и показать свою загорелую волосатую грудь – что наверняка вызвало у неё отвращение – во всяком случае, она не смотрела, а говорила мало и тихо – и была сосредоточена на Жюльене, а он сидел на корточках к ней спиной – и она вслушивалась в общий разговор и посмеивалась – говорили по большей части О’Хара и громогласный Роджер Белуа, и этот интеллигентный авантюрист Роб, а я почти всё время молчал, слушал, врубался, но в укуренном тщеславии иногда вставлял «идеальные» (как мне казалось) замечания, но они были «слишком идеальны», и для Адама Мурада, знавшего меня довольно давно, они явно указывали на мой трепет и настоящее уважение к группе, а остальные думали, что этот новый чувак отпускал замечания с целью выказать свою хиповость – всё ужасно, и непоправимо. – Хотя сперва, до затяжек, сделанных по кругу в индейском стиле, у меня было явное ощущение, что я могу сблизиться с Марду и увлечь её и сделать её в эту самую первую ночь, то есть уйти с ней вдвоём, хотя бы на кофе, но после затяжек, вынудивших меня благоговейно и в серьёзной тайне молиться о возвращении моего прежнего «здравомыслия», я стал смущаться, заискивать, уверять себя, что я ей не нравлюсь, злиться от этих фактов – вспоминая теперь первую ночь, когда я встретил свою любовь Ники Питерс в 1948 году дома у Адама Мурада в (тогда) Филлморе, я как всегда стоял беззаботно и пил пиво на кухне (а дома яростно работал над огромным романом, безумный, чокнутый, дерзкий, молодой, талантливый, как никогда с тех пор), и она показала на тень моего профиля на бледно-зелёной стене и сказала: «Какой у тебя красивый профиль», что поставило меня в тупик и (как трава) сделало меня неуверенным в себе, внимательным, и я попытался «подкатить к ней», действуя таким образом, который под её почти гипнотическим внушением теперь привёл к первым предварительным пробам гордости против гордости, красоты, благодати или чувствительности против глупой невротической нервозности фаллического типа, вечного осознания своего фаллоса, своей башни, или женщин как таковых, – что-то такое было и в этот раз, но мужчина не собран, не расслаблен, и теперь уже не сорок восьмой, а пятьдесят третий, с «крутым» поколением, и я на пять лет старше, или моложе, должен делать это (или покорять женщин) в новом стиле, устраняя нервозность, – во всяком случае, я сознательно отказался от попыток заполучить Марду и остался на ночь врубаться в огромную новую озадачивающую группу подземных, которую Адам обнаружил на Берегу и нарёк этим именем.

Но Марду с самого начала и вправду была самостоятельной и независимой, объявив, что никто ей не нужен, она не хочет ни с кем иметь ничего общего, и она осталась (после меня) такой же – сейчас, в холодную неблагодарную ночь я ощущаю в воздухе это её заявление, и её маленькие зубки уже не мои, но может мой враг трётся о них с садистским удовольствием, может ей это нравится, а я так не делал – убийства в воздухе – и этот мрачный угол, где горит фонарь и ветры кружат, бумага, туман, я вижу огромное разочарованное лицо меня самого и моей так

называемой любви, увядшей в переулке, ничего хорошего – как и прежде, меланхолические увядания в жарких креслах под низкой луной (хотя сегодня великая ночь урожайной луны) – если тогда это было осознание необходимости моего возвращения к всемирной любви, как пристало поступать великому писателю, Лютеру, Вагнеру, то теперь от этой жаркой мысли о величии остался лишь большой озноб на ветру – ибо величие тоже умирает – ах, и кто мне сказал, что я велик – и допустим, кто-то был великим писателем, тайным Шекспиром в ночи подушек? – допустим – стихи Бодлера не стоят его горя – его горя – (Это Марду наконец сказала мне: «Я предпочла бы счастливого человека несчастным стихам, которые он нам оставил», с чем я согласен, я и есть этот Бодлер и люблю мою смуглую госпожу, я тоже прислонился к её животу и слушал урчание в глубинах земли) – но мне следовало принять её исходное заявление о независимости, чтобы поверить в искренность её отвращения к этой связи, а не набрасываться на неё, будто я в самом деле хотел быть израненным и «изрезанным» – ещё один порез, и они натянут синюю дрянь и швырнут мой ящик, плюх, парень – ибо сейчас смерть опускает большие крыла у меня за окном, я это вижу, я слышу запах и звук, я это вижу в моих обвисших рубашках, я не хочу их носить, новые – старые, стильные – вышедшие из моды галстуки, повисшие змеями, змеиные галстуки, я ими больше не пользуюсь, новые одеяла для осенних мирных кроватей, когда они корчатся койками в море саморазрушения – тоска – ненависть – паранойя – это её маленькое лицо, я хотел в него войти, и вошёл —

В то утро, когда гулянка была в самом разгаре, я был в спальне у Ларри, снова любуясь красным светом и вспоминая ту ночь, когда у нас троих была Микки, это были Адам и Ларри и я, у нас был бенни и большой сексбол, слишком невероятный, чтобы его описать, – но тут вбежал Ларри и сказал: «Чувак, ты хочешь сделать это с ней этим вечером?» – «Я бы хотел – я не знаю». – «Ну, чувак, узнай, осталось не так много времени, что с тобой, мы приводим всех этих людей в дом и даём им весь этот чай, а теперь и всё моё пиво из холодильника, чувак, мы должны что-то извлечь из этого, работать над этим». – «Ого, она тебе нравится?» – «Чувак, мне все нравятся – но *ты знаешь*, в конце концов». – Что привело меня к короткой невольной неудачной свежей попытке, некоему взгляду, замечанию, я сидел рядом с ней в углу, я сдался, и на рассвете она вышла с остальными, они все пошли пить кофе, и я спустился туда с Адамом, чтобы снова её увидеть (пять минут спустя вслед за группой мы спустились по лестнице), и они были там, но её уже не было, в независимых хмурых размышлениях она отправилась в свою душную квартиру в Небесный переулок на Телеграфном холме.

Так что я двинул домой, и несколько дней в моих сексуальных фантазиях была она, её тёмные ступни, ремешки сандалий, карие глаза, мягкое смуглое личико, щёки и губы, как у Риты Сэвидж, маленькая скрытная близость и теперь почему-то мягкое змеиное очарование, как подобает маленькой стройной смуглой женщине, склонной к тёмной одежде, убитой одежде подземных...

Через несколько вечеров Адам объявил со зловещей улыбкой, что столкнулся с ней в автобусе Третьей улицы, и они пошли к нему, чтобы поговорить и выпить, и у них был большой долгий разговор, который закончился как у Лероя – тем, что Адам сидел обнажённым и читал китайскую поэзию, передавая ей косячок, и в итоге лежал в постели: «И она очень нежная, Боже, как она тебя вдруг обнимает, будто без всякой другой причины, кроме чистой внезапной привязанности». – «Ты собираешься с ней этим заняться? завести отношения?» – «Ладно, позволь мне – я вот что скажу – у неё порядком съехала крыша – она сейчас на терапии, она явно совсем недавно очень сильно поехала, что-то из-за Жюльена, она лечилась, но не сообщала об этом, она сидит или лежит, читает или ничего не делает, только целыми днями глядит в потолок у себя в Небесном переулке за восемнадцать долларов в месяц, надо думать, она получает какое-то пособие, как-то связанное с её врачами или кем-то ещё из-за её неадекватности в работе или чего-то в этом духе – она вечно говорит об этом, и для меня это слишком, – похоже, у неё настоящие глюки из-за монахинь в приюте, где она выросла, видела их

и испытывала настоящую угрозу – и всякое прочее, как ощущение, что она ширяется, хотя она никогда не ширялась, а только была знакома с торчками. – «Жюльен?» – «Жюльен ширяется всякий раз, как может, что бывает нечасто, ведь у него нет денег, а есть амбиции быть настоящим торчком, – но у неё точно были такие глюки, что она не торчит как все, но кто-то тайно ей что-то ширяет, она говорит, это люди, которые идут за ней по улице, она точно съехала – для меня это слишком – и потом она негритянка, и я не хочу в это впутываться». – «Она хорошенькая?» – «Красивая, но я не могу это сделать». – «Но знаешь, я точно запал на её внешность и всё такое». – «Хорошо, чувак, тогда ты сделаешь это – пойди туда, я дам тебе адрес, а ещё лучше, я приглашу её сюда, и мы поговорим, можешь попробовать, если хочешь, но хотя сексуально я на неё возбуждаюсь и всё такое, я в самом деле не хочу углубляться в неё не только по этим причинам, но и ещё по одной, самой главной: если я сейчас решу завести дела с девушкой, я хочу, чтобы это было постоянно, всерьёз и надолго, а с ней я не могу это сделать». – «Я бы хотел надолго, постоянно etc.» – «Ну, посмотрим».

Он сказал мне, что вечером пригласит её к себе на небольшой ужин, и вот я был там, курил чай в красной гостиной, с тусклой красной лампой, и она вошла всё такая же, но я в этот раз был одет в простую синюю шёлковую спортивную рубашку и модные брюки, и я холодно откинулся на спинку, чтобы изобразить из себя такого крутого, в надежде, что она наконец это заметит, и когда дама вошла в гостиную, я не встал со стула.

Пока они ели на кухне, я делал вид, что читаю. Я делал вид, что мне до них нет вообще никакого дела. Мы вышли втроем на прогулку и выделялись друг перед другом, как трое хороших друзей, когда они хотят высказать всё, что у них на уме, дружеское соперничество – мы двинули в «Красный Барабан» послушать джаз, в тот вечер там был Чарли Паркер с Гондурасом Джонсом на барабанах и другие интересные музыканты, может и Роджер Белуа тоже, сейчас я хотел его видеть, в воздухе носилось волнение мягкого ночного боба Сан-Франциско, и всё это на прохладном, сладком, невозмутимом Берегу – так что мы правда сбежали вниз от Адама с Телеграфного Холма по белой улице под фонарями, мы бежали, прыгали, выделялись, веселились – ощущали радость, и что-то пульсировало, и мне было приятно, что она могла идти так же быстро, как мы – милая стройная сильная маленькая красотка, с которой можно рубить по улице, и так клёво, что все оборачивались посмотреть на странного бородастого Адама, смуглую Марду в странных брючках и меня, большого радостного громилу.

И вот мы в «Красном Барабане», стол заставлен пивом, все компании входят и выходят, четверть доллара за вход, маленький хиповатый хорёк проверяет билеты, Пэдди Кордаван выплывает, как я пророчил (похожий на ж/д кондуктора большой высокий блондин, подземный из Восточного Вашингтона, ковбой в джинсах на вечеринке дикого поколения в дыму и одури, и я завопил: «Пэдди Кордаван?» и: «Да-а?»), и он подкатил к нам) – все сидят вместе, интересные группы за разными столиками, Жюльен, Роксана (женщина двадцати пяти лет, предвестница будущего стиля Америки, с короткой стрижкой, почти ёжиком, но с кудрявыми чёрными змеиными волосами, змеиной походкой, бледным анемичным торчковым лицом, мы говорим «торчковое», а как бы сказал Достоевский? если не аскетичное или святое? и не последнее? – нет, крутое бледное шальное лицо крутой улётной девушки в мужской белой рубашке, но с расстёгнутыми манжетами, и я помню, она нагнулась и говорила с кем-то, проскользнув через танцпол с плавными покатыми плечами, склонившись для разговора, с коротким бычком в руке и аккуратным лёгким щелчком, чтобы сбить пепел, и такими длинными-длинными ногтями в дюйм длиной, также восточными и змеиными) – компании всех видов и Росс Валленштейн, толпа, и Птица Паркер на сцене с серьёзным взглядом, его недавно повязали, и вот он вернулся во Фриско, где боп вроде как уже умер, но совсем недавно он узнал сам или от кого-то ещё о «Красном Барабане», где вопит и толчётся эта великая банда нового поколения, и вот он на сцене, обводит их глазами и выдувает свои теперь-уже-ставшие-системными «безумные» ноты – гулкие барабаны, высокий потолок – Адам ради меня

покорно свалил около одиннадцати, чтобы лечь спать и утром пойти на работу, после того, как малость поговорил с Пэдди и со мной за десятицентовым пивом в ревущей «Пантере», где мы с Пэдди в нашей первой беседе со смехом мерялись силой, – теперь Марду свалила со мной, с радостным взглядом, между сетями, чтобы выпить пива, она настояла, чтобы мы пошли в «Маску», там оно по пятнадцать, но у неё самой было лишь несколько пенни, мы завели искренний разговор и вдарили по пиву, и это было только начало – мы вернулись в «Красный Барабан» на новые сетки послушать Птицу, я чётко видел, как он раз за разом врубался в Марду и в меня тоже, глядя в глаза, чтобы просечь, правда ли я был тем великим писателем, каким я себя считал, словно он знал мои мысли и амбиции или помнил меня по другим ночным клубам и другим берегам, другим Чикаго – глядя не с вызовом, но своим взглядом короля и основателя боп-поколения, он врубается в аудиторию своим звуком, прямо в глаза, а они потаённо глядят, как он взял и поджал губы и позволил работать своим огромным лёгким и бессмертным пальцам, его глаза широко посажены, заинтересованы и человечны, он самый добрый джазовый музыкант на свете и потому, естественно, величайший – наблюдая за мной и Марду в младенчестве нашей любви и, скорее всего, удивляясь, как так, или зная, что она не продлится долго, или увидев, кто это там, ему было больно, как сейчас, очевидно, но не совсем, а это была Марду, и её глаза сияли именно мне, хотя я не мог этого знать и теперь точно не знаю – за исключением одного факта, по дороге домой, пивная сессия в «Маске», пьяные мы отправились домой на автобусе Третьей улицы, сквозь грустную ночь и пульсы неонов, и когда я внезапно наклонился над ней, чтобы крикнуть что-то ещё (прямо в её тайное «я», как она мне потом призналась), её сердце подпрыгнуло, чтобы ощутить «сладость моего дыхания» (цитата), и внезапно я ей почти понравился – о чём я не знал, и вот мы увидели русскую тёмную печальную подворотню Небесного переулка, большие железные ворота скребют по тротуару, когда за них тянешь, нутро вонючих мусорных баков, они грустно склонились друг к другу, рыбы головы, кошки, – а затем и сам переулок, мой первый взгляд на него (долгая история и его безмерность в моей душе, в пятьдесят первом я шёл со своим блокнотом набросков в тот дикий октябрьский вечер, я наконец раскрыл свою душу писателя, я увидел подземного Виктора, как-то раньше он приезжал в Биг-Сур на мотоцикле, а потом хотел двинуть на нём на Аляску, с маленькой подземной цыпочкой Дори Кил, а сейчас в размашистом иисусовом пальто он шагал на север, в Небесный переулок, к себе на флэт, и я какое-то время шёл вместе с ним, размышляя о Небесном переулке и обо всех долгих беседах в течение многих лет с такими людьми, как Мак Джонс, о тайне, о молчании подземных, «городских Генри Торо», как называл их Мак, и Альфред Казин из Новой Школы Нью-Йорка в своих лекциях на Востоке отмечал, что Уитмен интересуется студентов только в разрезе сексуальной революции, а Торо – в разрезе созерцательной мистики и антиматериализма, с экзистенциалистской или ещё какой точки зрения, придурь в духе мелвилловского «Пьера» и удивление, тёмные маленькие джутовые платья, рассказы о великих тенорманах, ширяющихся наркотой у выбитых окон и дующих в свои дудки, или о великих молодых бородатых поэтах, торчащих в лёжку в стиле Руо в святых темнотах, Небесный переулок, знаменитый Небесный переулок, все эти подземные обитали в нём в то или иное время, как Альфред и его маленькая болезненная жена, будто бы прямо из петербургских трущоб Достоевского, на первый взгляд, но на самом деле это американский потерянный бородатый идеалист – (во всяком случае), я увидел его в первый раз, но с Марду, стирка развешена над двором, это такой задний двор большого дома на двадцать семей с эркерами, там сушат бельё, а днём великая симфония итальянских мамаш, детей, отцов финнеганит и вопит со всех лестниц, запахи, мяуканье кошек, мексиканцы, музыка всех приёмников, будь то болеро мексиканцев, или итальянский тенор макаронников, или внезапные громкие клавишные симфонии Вивальди по радио KPFA для компаний интеллектуалов, бум, бам, потрясный звук, я его слушал тогда всё лето в объятиях моей любви – вот я вхожу туда и поднимаюсь по узким затхлым ступенькам, как в лачуге, к её двери.

Ради интриги я настоял, чтобы мы танцевали, – перед этим она проголодалась, и я предложил пойти и купить омлет фу-йонг на углу Джексон и Кирни, и она его разогрела (а потом призналась, что терпеть его не может, хотя это одно из моих любимых блюд, и, вполне в моём духе, я уже запихал ей в глотку то, что она в подземной печали предпочла бы пережить в одиночестве, а лучше вообще никогда), ах. – Мы танцевали, я погасил свет, и вот, танцуя в темноте, я поцеловал её – и началось головокружение, кружение в танце, начало, обычное начало поцелуев влюбленных, стоя в тёмной комнате, комната женская, а все дела мужские – а потом дикие танцы, она у меня на бёдрах, а я кружил её, выгнув спину для равновесия, и она обнимала меня за шею своими руками, и они так сильно согревали *меня всего*, а потом стало совсем жарко —

И очень скоро я узнал, что у неё не было веры и ей негде было её обрести – мать-негритянка умерла при родах – неизвестный отец, полукровка-чероки, бродяга, он шлёпал своими рваными башмаками по серым равнинам в чёрном сомбреро и розовом шарфе, сидя на коротках у костров с хот-догами, швыряя в ночь пустые бутылки из-под токайского: «Йя, Калек-сико!»

Быстро нырнуть, укусить, погасить свет, скрыть своё лицо от стыда, заняться с ней потрясающей любовью из-за отсутствия любви почти год и необходимости этим заняться – наши маленькие договорённости в темноте, возникающие без слов, – это она потом мне сказала: «Мужчины такие безумные, они хотят сущности, женщина – это сущность, вот она у них в руках, но они бросаются возводить большие абстрактные конструкции». – «Ты хочешь сказать, им следует просто остаться дома с сущностью, то есть лежать весь день под деревом с женщиной, но Марду, это моя старая идея, любимая идея, и я никогда не слышал, чтобы она была выражена настолько ясно, и никогда не мечтал». – «Вместо этого они спешат прочь, и ведут большие войны, и смотрят на женщин как на награды, а не как на людей, но послушай, я конечно могу быть в центре всего этого дерьма, но я определённо не хочу в нём никак участвовать» (своим сладким культурным хиповым тоном нового поколения). – И вот, обретая сущность её любви, я возвожу громкие словесные конструкции и тем самым реально её предаю – выбалтывая истории всякой нескромной простыни, развешенной на верёвках мира, – а её, наши, за все два месяца нашей любви (думал я) были постираны всего один раз, ведь она, будучи одиночкой подземной, пребывала в своих грёзах и уже собиралась пойти в прачечную, но внезапно настал сырой поздний полдень, слишком поздно, и простыни стали серыми, милыми для меня – такими мягкими. – Но в этом признании я не могу выдать самое сокровенное, бёдра, то, что содержат бёдра – да и зачем об этом писать? – бёдра содержат сущность – и хотя мне следует там остаться, я оттуда пришёл и туда в итоге вернусь, всё же мне надо спешить и возводить свою конструкцию – просто так – ради стихов Бодлера —

Она ни разу не сказала «люблю», даже в тот первый момент после нашего бешеного танца, когда я всё ещё нёс её на бёдрах, и завис над кроватью, и медленно опустил её, и искал её, страдая, что она так любила, будучи асексуальной во всей своей жизни (кроме первой связи в пятнадцать лет, которая неким образом её консуммировала, и никогда с тех пор) (боль от раскрытия этих секретов, которые так необходимо рассказать, а иначе зачем тогда писать или жить) теперь *'casus in eventu est'*, но я рад, что схожу с ума в той лёгкой эгоманиакальной манере, которую я обретаю после нескольких банок пива. – И вот я лежу в темноте, мягко, щупальцево, ожидаю, потом засыпаю – а утром просыпаюсь от крика пивных кошмаров и вижу рядом с собой спящую негритянку с приоткрытыми губами и кусочки набивки белой подушки в её чёрных волосах, я ощущаю почти отвращение, осознаю себя животным, рядом с этим виноградным маленьким сладким телом, обнажённым на беспокойных простынях возбуждения прошедшей ночи, шум Небесного переулка вползает в серое окно, серый конец света в августе, так что я чувствую, что сразу хочу уйти, чтобы «вернуться к своей работе» – химера не химера, но налаженное постоянное чувство работы и долга, я его выработал и развил дома (в Южном

Фриско), пусть и скромное, но какое есть, и удобства тоже, уединение, я его так желал, а теперь не могу выносить. – Я встал и стал одеваться, извиняясь, она лежала как маленькая мумия на простыне и глядела на меня серьёзными карими глазами, это были глаза индейской настороженности в лесу, тёмные упрёки внезапно поднялись вместе с чёрными ресницами, обнажив неожиданные фантастические белки глаз с коричневой сверкающей радужкой в центре, серьёзность её лица, подчёркнутая слегка монголоидным, будто боксёрским носом, и щёки, слегка припухшие после сна, как лицо на красивой порфировой маске, найденной давно и ацтекской. – «Но куда ты убегаешь так быстро, словно в истерике или в тревоге?» – «Ну, у меня есть работа, и мне надо опохмелиться», – и она не совсем проснулась, так что я ускользаю с несколькими словами, когда она почти засыпает, и снова не вижу её несколько дней —

Юный любовник дома после своей победы почти не думает об утрате любви к покорённой девушке с прекрасными чёрными ресницами – здесь нет признания. – В то утро, когда я ночевал у Адама, я опять увидел её, я собирался вставать, печатать и пить кофе на кухне весь день, ведь в то время работа, работа была моей ведущей мыслью, а не любовь – не боль, которая заставляет меня это писать, даже если я этого не хочу, эту боль не облегчить тем, что написано, она только усилится, и будет искуплена, и если бы это была достойная боль и её можно было поместить куда-то в другое место, а не в эту чёрную канаву стыда и потерь и ночной безумной суеты и испарины на моём лбу, – Адам встал, чтобы пойти на работу, я тоже, я умывался и бормотал, тут зазвонил телефон, и это была Марду, она шла к своему терапевту, но нуждалась в мелочи на автобус, она жила за углом: «Окей, заходи, но побыстрее, я пойду на работу или оставлю деньги Лео». – «О, он там?» – «Да». – В моём уме мужские мысли о том, чтобы сделать это опять, и я внезапно с нетерпением жду этой встречи, как если бы мне показалось, что она недовольна нашей первой ночью (нет причин это чувствовать, ведь до соития она лежала у меня на груди, ела омлет фу-йонг и пожирала меня сияющими радостными глазами) (что сегодня вечером пожирает мой враг?), мысль об этом заставляет меня уронить мой жирный горячий лоб на усталую ладонь – о любовь, ты меня оставила – или телепатии в самом деле сочувственно пересекаются в ночи? – Такая ему выпала пагуба – холодный любитель похоти заполучит горячее кровотечение духа – и вот она здесь, в восемь утра, Адам ушёл на работу, и мы остались одни, и она сразу же свернулась калачиком у меня на коленях, по моему приглашению, в большом мягком кресле, и мы завели разговор, она стала рассказывать свою историю, и я зажёл (в серый день) тусклую красную лампу, и так началась наша настоящая любовь —

Ей надо было рассказать мне всё – и, конечно, буквально на днях она уже рассказала всю свою историю Адаму, и он слушал, теребя бороду с мечтами в далёких глазах, чтобы казаться внимательным любовником в сумрачной вечности, кивая, – теперь она начала рассказывать мне всё сначала, но (думал я) как брату Адама, который любит ещё больше, слушает благоговейнее, волнуется сильнее. – Мы были здесь, во всём сером Сан-Франциско на сером Западе в воздухе почти висел запах дождя, и далеко по всей земле, над горами за Оклендом и дальше за Доннером и Траки лежала великая пустыня Невады, пустоши, ведущие в Юту, в Колорадо, к холодному холоду равнин, и я представлял себе, как её бродяга-отец, полукровка-чероки, лежит там ничком на платформе, ветер ворошит лохмотья и чёрную шляпу, его тёмное скорбное лицо смотрит на всю эту землю и опустошение. – В другие моменты я представлял, как он работает сборщиком в Индии, а потом жаркой ночью сидит на стуле, на тротуаре среди шутивых мужчин в рубашках, и сплёвывает, а они говорят: «Эй, Ястребиный Хер, расскажи нам эту историю ещё раз, как ты угнал такси и поехал на нём прямиком в Манитобу, в Канаду, – ты слышал его рассказ, Сай?» – Я видел её отца, он стоит прямой, гордый, красивый, в мрачном тускло-красном свете Америки на углу, никто не знает, как его звать, никому до него нет дела —

Её собственные рассказы о мелких безумствах и бегствах, пересечении городских границ и излишнем курении марихуаны, вызывавшем у неё такой ужас (в свете моих собственных мыс-

лей про её отца, творца её плоти и прародителя её ужасов, познавшего куда больше серьёзных безумств, чем она в психоаналитических тревогах могла себе вообразить), послужили лишь фоном для мыслей о неграх, индейцах и Америке в целом, но со всеми подтекстами «нового поколения» и другими историческими проблемами, в которые она теперь окунулась, как и все мы в нашей Ошеломляющей и Европейской Печали, невинная серьёзность, с которой она рассказывала свою историю, а я слушал, так часто её перебивая, – с широко раскрытыми глазами мы обнимались на небесах – хипстеры Америки 1950-х в тёмной комнате – грохот улиц за пустым мягким подоконником. – Беспокойство об её отце, поскольку я тоже бродил там, сидел на земле и видел рельсы, сталь Америки, она опутала землю, набитую костями старых индейцев и коренных американцев. – В холодную серую осень в Колорадо и Вайоминге я работал на полях и видел, как индейские бродяги внезапно выходят из придорожных кустов и медленно идут, с ястребиными губами, с выступающими скулами и морщинами, в огромной тени вещевых мешков с барахлом, тихо беседуя друг с другом, они так далеки от поглощённых полевыми работами людей, даже негров с улиц Шайенна и Денвера, япошек, армянского и мексиканского меньшинства всего Запада, что смотреть на троих или четверых индейцев, шагающих через поле и железную дорогу, это нечто невероятное, как сон, – и ты думаешь: «Это, должно быть, индейцы – ни одна душа на них не глядит – они идут туда – никто их не замечает – неважно, куда они идут – в резервацию? Что у них в этих коричневых брезентовых мешках?» – и лишь приложив немало усилий, ты осознаёшь: «Но они были жителями этой земли, и под этими огромными небесами они были причиной тревог, печальниками и защитниками жён целых народов, собиравшихся вокруг шатров, – теперь дорога, проложенная по костям их предков, ведёт их вперёд, указывая в бесконечность, призраки человечества легко ступают по поверхности земли, настолько глубоко нагноённой запасами их страданий, что достаточно копнуть ногой, чтобы найти руку ребёнка. – Скорый пассажирский поезд с дизельным рёвгрохотом мчится мимо, брум, брум, индейцы подняли взгляд – я вижу, они исчезают, как пятна», – и теперь, сидя в комнате с красной лампой в Сан-Франциско с милой Марду, я думаю: «Так это твой отец, это его я видел в серой пустыне, в ночной тьме, – из его соков вышли твои губы, твои глаза, полные страдания и печали, и неужели нам не дано узнать его имя или назвать его судьбу?» – Её маленькая коричневая рука сжата в моей руке, её ногти бледнее, чем её кожа, на пальцах ног тоже, и, сняв туфли, она зажала одну ногу между моими бёдрами для тепла, и мы разговариваем, мы начинаем наш роман на более глубоком уровне любви и историй уважения и стыда. – Ибо величайший ключ к храбрости – это стыд, и размытые лица в проходящем поезде не видят на равнине ничего, кроме фигур бродяг, уплывающих из поля зрения —

«Я помню одно воскресенье, Майк и Рита перебрали, мы покурили очень крепкого чая – они сказали, что в нём был вулканический пепел и круче его не бывает» – «Он из Эль-Эй?» – «Из Мексики – какие-то парни приехали в универсале и закупили его на свои, из Тихуаны, или откуда-то ещё, я не знаю – Рите тогда снесло крышу – когда мы были под кайфом, она резко встала посреди комнаты и сказала, что чувствует, как её нервы горят сквозь кости, – её *снесло* прямо у меня на глазах – я занервничала и взглянула на Майка, он *вперился* в меня так, будто хотел убить – он такой странный – я выскочила из дома и куда-то пошла, и не знала куда, мой ум рвался в разные стороны, и я хотела идти за ним, но моё тело так и шло вперёд по Коламбус, и мне казалось, что меня умом и чувствами тянет во все стороны сразу, и я недоумевала, как можно выбрать все стороны сразу, причём для каждой был свой мотив, как будто становишься другой *личностью*, – я с детства часто об этом думала, вот допустим, вместо того, чтобы пойти как обычно вверх по Коламбус, я двинула бы по Филберт, произошло бы тогда что-то такое, сперва незначительное, но достаточное потом, чтобы в итоге повлиять на всю мою жизнь? – Что меня ждёт в том направлении, куда я *не* пошла? – и всё такое, и если бы это не было моим постоянным беспокойством, аккомпанировавшим мне в моём одиночестве, из которого я извлекала столько разных мелодий, я не стала бы сейчас беспокоиться, разве что меня *испугал*

бы вид ужасных дорог, по которым проходит это чистое *допущение*, если бы я не была такой чертовски *упёртой* —» и так весь день, длинная запутанная история, лишь обрывки из неё, и те я помню плохо, только масса невзгод в связующей форме —

Трип после обеда в комнате Жюльена, и Жюльен сидит, не обращая на неё внимания, но уставившись в серую мотыльковую пустоту, лишь изредка шевелясь, чтобы закрыть окно или иначе скрестить ноги, круглые глаза в такой долгой и таинственной медитации, и как я сказал, он похож на Христа, этакий агнец с виду, этого хватит, чтобы любого свести с ума, достаточно прожить там хотя бы день с Жюльеном или Валленштейном (тот же тип) или Майком Мерфи (тот же тип), с этими подземными с их мрачными долгими мыслями. — И кроткая девушка, ждущая в тёмном углу, я хорошо помнил, как я был в Биг-Суре, и Виктор приехал на своём буквально самодельном мотоцикле с маленькой Дори Кил, в коттедже у Пэтси была вечеринка, пиво, свечи, радио, разговоры, но в первый час новоприбывшие в их забавной рваной одежде, и он с этой бородой, и она с этими мрачными серьёзными глазами, они сидели практически вне поля зрения в тени при свечах, так что никто их не видел, и они ничего не говорили, но просто (если не слушали) медитировали, мрачные, упёртые, так что даже я в итоге забыл, что они были там, — а потом в эту ночь они спали в маленькой палатке в поле с туманной росой Звёздной Ночи Тихоокеанского Побережья, и с тем же скромным молчанием ничего не сказали утром, — Виктор для меня всегда был центровым выразителем тенденции подземного хипового поколения к молчанию, богемной таинственности, наркотикам, бородам, полусвятости и, как я потом обнаружил, непревзойденной мерзости (как Джордж Сандерс в фильме «Луна и грош») — так что Марду, здоровая девушка сама по себе, открытая всем веяниям и готовая к любви, спряталась теперь в затхлом углу, ожидая, когда Жюльен заговорит. — Время от времени во всеобщем «кровосмешении» её молча, ловко, по какому-то предварительному согласию или в тайной дипломатической игре передавали из рук в руки, или просто «Эй, Росс, отвези Марду к себе домой сегодня вечером, я хочу сделать это с Ритой для разнообразия», — и она оставалась у Росса на неделю, курая вулканический пепел и крезуя — (плюс тревожность из-за неправильного секса, преждевременная эякуляция этих анемичных *maquereaux*, оставляющая её в подвешенном состоянии, в напряжении и недоумении). — «Я была невинной девочкой, когда их встретила, независимой, но и не особо счастливой, или что-то в этом роде, но я понимала, что мне надо чем-то заняться, я хотела пойти в вечернюю школу, мне было где заработать по моей специальности, я работала переплётчицей в Олстэде и других местах по всему Харрисону, преподаватель рисунка, старая дева в школе, говорила, что я могу стать великой скульпторшей, и я жила с разными соседями по комнате, покупала одежду и доводила её до ума» — (прикусывая свою маленькую губу, и этот скользкий «кук» в глотке от быстрого печального вдоха и будто от холода, как в глотках у больших пьяниц, но она не пьяница, а печальница) (высшая, тёмная) — (далее обвивая меня тёплой рукой) «а он лежит и говорит в-чём-дело, я не могу понять» — Она внезапно не может понять, что случилось, ведь она потеряла рассудок, своё обычное самосознание, и она ощущает жуткое жужжание тайны, она в самом деле не знает, кто она, где и зачем, она глядит из окна, и этот город, Сан-Франциско, как большая мрачная голая сцена, на которой над ней развёрнута какая-то гигантская шутка. — «Спиной к нему, я не знала, о чём думает Росс — и что он там делает». — На ней не было одежды, она встала с его удовлетворённых простыней в тени серого мрака, думая, что ей делать, куда идти. — И чем дольше она стояла с пальцем во рту, и чем больше мужчина спрашивал: «Что случилось, детка?» (наконец он перестал задавать вопросы и позволил ей там просто стоять), тем сильнее она ощущала давление изнутри, ведущее к разрыву и взрыву, наконец она сделала гигантский шаг вперёд с глотком страха — всё было ясно: опасность в воздухе — это было написано в тени, на мрачной пыли за чертёжным столом в углу, на мешках для мусора, серый день просачивался по стене и в окно — в пустых глазах людей — она выбежала из комнаты. — «Что он сказал?»

«Ничего – он не двинулся с места, лишь оторвал голову от подушки, когда я обернулась, закрывая дверь – я была без одежды в переулке, мне было всё равно, я настолько ушла в осознание всего, что я знала, я была невинным ребёнком». – «Голая малышка, вау» – (И к себе: «Боже мой, эта девушка, Адам прав, она чокнутая, я с ней свихнусь, как на бензедрине с Хани в сорок пятом, когда я подумал, что ей нужно моё тело для машины её банды, крушения и пламени, но я точно никогда не выбегу голым на улицы Сан-Франциско, хотя может и смог бы, если бы правда ощутил необходимость действовать, да-а»), и я смотрел на неё, изумляясь и думая, говорит ли она правду. – Она стояла в переулке, пытаюсь понять, кто она, ночь, мелкая морось тумана, тишина спящего Фриско, лодки в заливе, над заливом пелена огромных клыкастых туманов, ореол необычного жуткого света в проливе от Аркадных Намордников Храмовой Колоннады в Алькатрасе – её сердце колотится в тишине, в холодном тёмном покое. – Наверх, на деревянный забор, ждать – посмотреть, придут ли к ней извне какие-то мысли, как быть дальше, полные смысла и предчувствия, всё это будет правильным лишь один раз – «Одна ошибка в неправильном направлении...» – её рывок в никуда, прыгнуть с одной стороны забора или с другой, бесконечное пространство с четырёх сторон, мужчины в мрачных шляпах идут на работу по блестящим улицам, не замечая голую девушку, скрытую в тумане, или они там были и видели, как она стояла в кругу, не касаясь её, лишь ожидая, пока полицейские придут и увезут её прочь, и все их усталые глаза поникли без интереса от пустого стыда, наблюдая за каждой деталью её тела – голое дитя. – Чем дольше она будет сидеть на заборе, тем меньше у неё останется сил, чтобы в итоге спуститься и принять решение, а Росс Валленштейн наверху и не собирается вставать со своей торчковой постели, он думает, что она жмётся в коридоре, или уже заснул в собственной шкуре и со своими костями. – Дождливая ночь расцветает повсюду, она целует мужчин, женщин и города в одном потоке грустной поэзии, с медовыми строками Ангелов наверху, трубящих над последними Восточно-Покровными Тихоокеанскими Песнями Рая, конец страха внизу. – Она сидит на заборе, тонкая морось ложится бисером на её каштановые плечи, звёзды в её волосах, её дикие, ныне индейские глаза смотрят теперь в Черноту с лёгким туманом, плывущим из её коричневого рта, страдание как кристаллы льда на пополах лошадок её индейских предков, бедный дым, ползущий из-под земли, и деревенская морось в давние времена, когда скорбная мать колола жёлуди и варила кашу безнадежных тысячелетий, – песня азиатских охотников, ползущих по последнему аляскинскому ребру земли на Вой Нового Света (в их глазах и в глазах Марду теперь возможное Королевство Инков, Майя, обширных Ацтеков, блеск золотой змеи и храмов, столь же благородных, как в Греции и Египте, длинные гладкие скулы и приплюснутые носы монгольских гениев, творящих искусство в храмовых залах, и порыв их челюстей говорить, куда испанцы Кортеса, утомлённые голландские хворые бездельники Писарро в панталонах Старого Света не заявили рубить тростник в саваннах, чтобы найти сияющие города Индейских Глаз, высокие, с ландшафтами, бульварами, ритуалами, герольдами, под флагами всё того же Солнца Нового Света, над которым вознесено бьющееся сердце) – её сердце бьётся под дождём во Фриско, на заборе, перед последними фактами, она готова прыгнуть на землю и вернуться бегом и снова укрыться там, где была она и где было всё – утешая себя видениями истины – прыгнув с забора, вперёд на цыпочках, найти коридор, содрогаясь и крадучись —

«Я приняла решение, я выстроила некую конструкцию, вот такую, но я не могу». – И опять всё сначала, начиная с плоти под дождём: «Почему кто-то должен хотеть причинить вред моему маленькому сердцу, моим ногам, моим маленьким рукам, моей коже, в которую я завёрнута, поскольку Бог хочет, чтобы я была тёплой и внутри, моим пальцам ног – неужели Бог создал это всё таким хрупким, смертным и опасным, и хочет, чтобы я осознала это и закричала, – почему дикая земля и тела обнажаются и ломаются – я дрожала, когда даритель бежал, мой отец кричал, моя мать мечтала, – я начала с малого и выросла, и теперь я опять большое нагое дитя, и я только боюсь и плачу. – Ах – Защити себя, безвредный ангел, ведь ты никогда

бы не смогла повредить и расколоть другую невинную оболочку и тонкую вуаль боли – завернись в мантию, медовый агнец, – защити себя от дождя и подожди, пока Папа снова придёт, а Мама бросит тебя тёпленькую в свою лунную долину, соткёт на станке терпеливого времени, будь счастлива по утрам». – Начав всё сначала, дрожа, из переулка, ночью нагая в коже и на деревянных ногах, к грязной двери какого-то соседа – стук – женщина подошла к двери на испуганный стук дрожащих костяшек, она видит нагую коричневую девушку, испуганную – («Это женщина, это душа моего дождя, она глядит на меня, она напугана») – «Постучать в дверь этого совсем незнакомого человека, конечно». – «Я подумала, что быстро схожу по улице к Бетти и назад, я правда пообещала вернуть ей одежду, она впустила меня, она закутала меня одеялом, потом достала мне одежду, и к счастью она была одна – итальянка. – Я вышла от неё и пошла по переулку *далее*, теперь уже в одежде, потом я зашла к Бетти и взяла два бакса – потом купила эту брошь, я её видела в тот день в каком-то месте со старой морской корягой в окне, на Северном Берегу, украшения ручной работы, такая лавка, это был первый символ, который я решила себе позволить» – «Конечно». – От голого дождя до мантии, окутавшей её невинность, затем к украшению Бога и религиозной сладости. – «Как в тот раз, когда я дралась на кулаках с Джеком Стином, это всё отпечаталось в моей памяти». – «На кулаках с Джеком Стином?» – «Это было раньше, все торчки в комнате Росса, они вязали и стреляли с Пушером, знаешь Пушера, ну, я тоже сняла там одежду – это было... всё... часть того же... трипа...» – «Но эта *одежда*, эта *одежда!*» (к себе самому). – «Я стояла посреди комнаты и отлетала, а Пушер извлекал звуки из гитары, на одной струне, я подошла к нему и сказала: “Чувак, не швыряй в МЕНЯ эти грязные ноты”, и он сразу молча встал и ушёл». – Джек Стин разозлился на неё и подумал, что если он ударит её и вырубит кулаками, она придёт в себя, поэтому он ударил её, но она была такой же сильной, как он (анемичные бледные 110-фунтовые торчковые аскеты Америки), бац, они вырубались раньше других, усталые. Она мерилась силой с Джеком, с Жюльеном, и практически их побеждала – «Жюльен наконец победил меня, но для этого ему пришлось меня яростно придавить, и сделать мне больно, и он был очень расстроен» (радостный маленький хмык сквозь маленькие выпуклые зубки) – она дралась там с Джеком Стином и почти его уделала, но он разъярился, и соседи снизу вызвали полицейских, те пришли, и им пришлось объяснять, что они – «танцуют». – «Но в тот день я увидела эту железную штучку, маленькую брошь с прекрасным тусклым блеском, её носят на шее, знаешь, она бы так хорошо смотрелась у меня на груди» – «На твоей коричневой груди она была бы тускло-золотой и красивой, детка, продолжай свою чудесную историю». – «И я сразу захотела эту брошь, хотя было четыре утра, и на мне было это старое пальто, туфли и старое платье, которое она мне дала, я ощущала себя уличной шлюхой, но я знала, что никто ничего мне не скажет, – я побежала к Бетти за двумя баксами, разбудила её». – Она требовала денег, она выходила из смерти, а деньги были лишь средством получить блестящую брошь (глупые средства, изобретённые изобретателями бартера и торгов и того, кто кому принадлежит, кто чем владеет —). Потом она бежала по улице со своими двумя баксами, пришла в лавку задолго до открытия, пошла выпить кофе в кафетерии, сидела одна за столом, наконец-то врубилась в мир, мрачные шляпы, блестящие тротуары, вывески с запечённой камбалой, отражения дождя в оконном стекле и в зеркале на колонне, красота продуктовых прилавков с холодными закусками, горками пирожков и паром из кофейника. – «Какой тёплый мир, нужны лишь маленькие символические монеты – они дадут столько тепла и еды, сколько нужно, – и не надо сдирать кожу и грызть свою кость в переулках – эти места созданы, чтобы дать крышу и утешение мешкам-с-костями, приходящим взывать об этом утешении». – Она сидит там и смотрит на всех, обычные похотливые завсегдатаи боятся смотреть в ответ из-за дикой вибрации её глаз, они ощущают какую-то живую опасность в апокалипсисе её напряженной жадной шеи и дрожащих жилистых рук. – «Это не женщина». – «Это чокнутый индеец, она кого-нибудь убьёт». – Пришло утро, Марду, радостная и себе на уме, увлечённая, спешила в магазин купить брошь – затем стояла в аптеке у вер-

тушки для открыток целых два часа, внимательно изучая каждую снова и снова, у неё осталось всего десять центов, и можно было купить только две, и этим двум надлежало быть совершенными личными талисманами нового важного значения, личными предзнаменованиями – её жадные губы напряглись, чтобы увидеть боковым взором заурядные смыслы теней канатного трамвая, Чайнатауна, цветочных киосков, синевы, клерки недоумевают: «Она здесь битых два часа, без чулок, с грязными коленками, разглядывает открытки, какая-то беглая жена алкоголика с Третьей улицы, пришла в большую аптеку для белых людей, никогда раньше не видела блестящих открыток». – Накануне вечером её можно было увидеть на Маркет-стрит у Фостера с последним (опять) пятакон и стаканом молока, плачущей в своё молоко, а мужчины всегда на неё смотрели, всегда пытались сделать её, но теперь ничего не делали, потому что боялись, потому что она была как ребёнок, – и ещё: «Почему Жюльен или Джек Стин или Уолт Фицпатрик не оставили тебя одну у себя в углу или не одолжили тебе пару баксов?» – «Но им всё было побоку, они *в самом деле*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.